

ПАМЯТЬ — ЭТО ДАРИЛИ ПРОКЛЯТИЕ?

ОСКОЛКИ ПУСТОТЫ

— КНИГА 1. ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА —



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Я помню
Я помню дом
Я помню смех
Я помню её
Но буквы
становятся
чужими.

18+

МИР ЗАБЫЛ. ОН ДОЛЖЕН ВСПОМНИТЬ.

Андрей Пепельный
Осколки пустоты

«Автор»

2026

Пепельный А.

Осколки пустоты / А. Пепельный — «Автор», 2026

Мир, где смерть стирает не жизнь, а память. Где умерший исчезает не только из настоящего, но и из прошлого — его забывают любимые, его подвиги становятся пустотой, а дома занимают чужие люди. Это Проклятие Забвения. Одни называют его карой богов, другие — милосердием, спасающим реальность от тяжести бесконечной памяти.

© Пепельный А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Андрей Пепельный

Осколки пустоты

Глава

Он очнулся от того, что не было сном. Просто до этого мига не существовало ничего — ни «до», ни «после», ни его самого. А затем пришла тяжесть.

Он лежал на холодном камне. Потолок над ним был низким, серым, покрытым паутиной трещин, но взгляд не находил в них смысла. Глаза видели. Разум не называл.

Воздух пах пылью. Пыль. Слово всплыло само. Он не помнил, откуда его знает. Он вообще ничего не помнил.

Пусто.

Он сел. Это потребовало усилия, но тело знало, как двигаться. Руки — две, ноги — две. На нем была одежда: ткань, кожа, местами стертая до дыр. Он потрогал лицо. Пальцы скользнули по щетине, по шраму над бровью. Шрам был, а истории шрама не было.

Пусто.

Комната, в которой он находился, была маленькой. Каменный мешок. Ни двери, ни окна — только проем в дальней стене, черный, как рот кричащего. И тишина. Не просто отсутствие звуков, а тишина, которая давила на уши, словно сам воздух забыл, как дрожать.

Он поднялся. Пошатнулся. Подошвы сапог прошелестели по каменной крошке. Он сделал шаг. Еще один. Ноги не помнили дорог, но знали, как ходить.

В проеме тьма не шевелилась. Он вошел в нее без страха. Страх требует прошлого опыта, а у него опыта не было. Тьма пахла сыростью и старым воском. Где-то впереди брезжил свет — не теплый, не живой, а бледно-желтый, как запекшаяся слеза.

Коридор. Длинный, узкий. Стены исцарапаны. На некоторых камнях виднелись буквы, выбитые чем-то острым. Он остановился, провел пальцами по углублениям. «Я БЫЛ». «НЕ ЗАБУДЬ МЕНЯ». «НЕ ЗАБУДЬ...» Дальше шла путаница линий — писавший забыл, что хотел сказать, прямо посреди фразы. Или его забыли.

Он смотрел на надписи. Что-то внутри сжалось, дернулось и снова затихло. Он не знал, кто это писал. Не знал, помнит ли он их, или они его. Пусто.

Свет в конце коридора стал ярче. Он вышел в зал.

Зал был круглым. Высокий купол уходил в темноту, теряясь где-то вверху. Посреди зала стояла чаша — огромная, каменная, заполненная серым пеплом. От пепла поднимался дымок, тонкий, едва заметный, но свет исходил именно от него, как будто сам пепел слабо фосфоресцировал.

Вокруг чаши сидели люди. Или те, кто когда-то был людьми.

Их было пятеро. Одежда ветхая, лица пустые. Они смотрели на пепел. Один из них, старик с седой бородой, держал в руках ложку — деревянную, стертую до щепки. Он черпал пепел, подносил ко рту, но не ел. Просто повторял движение. Черпал. Подносил. Опускал. Снова черпал.

Другой — молодая женщина с обрезанными волосами — сидела, прижав колени к груди, и раскачивалась, еле слышно напевая мелодию без начала и конца. Третий лежал лицом вниз. Четвертый и пятый просто смотрели в пустоту, и глаза их были как стеклянные шарики — блестели, но не видели.

Он приблизился. Старик поднял голову. Взгляд скользнул по нему, не задерживаясь.

— Новенький, — сказал старик. Голос был как шорох песка. — Ну, ты это... заходи, если что. Садись.

Приглашение прозвучало бессмысленно, как скрип двери. Он не ответил. Он смотрел на старика и чувствовал странное: старик был пуст. Не как комната, не как его собственная память. Иначе. Из старика ушло что-то важное, и осталась только оболочка, которая еще двигалась по инерции.

— Ты... это... — старик пошевелил ложкой, — каша сегодня... ну, сам понимаешь. Никакой каши не было. Был пепел.

— Я ищу выход, — сказал он. Его собственный голос прозвучал хрипло, будто им не пользовались очень давно.

— Выход... — старик задумался. Ложка замерла. — Был, кажется. Или не было. А, ну да. Там, — он махнул в сторону одного из коридоров, — лестница. Вроде. Или ты это... лучше не ходи. Там смотрители.

— Смотрители?

— Ну да. Они... — старик нахмурился, видимо, пытаясь вспомнить. Потом лицо его разгладилось, и он снова зачерпнул пепел. — Ты, главное, не шуми. Они и не тронут.

Больше старик ничего не сказал. Он забыл, о чем говорил.

Он пошел туда, куда показал старик. Коридор, поворот, еще коридор. Стены здесь были другими — гладкими, почти зеркальными, будто камень оплыл от жара. Через несколько десятков шагов он увидел лестницу. Винтовую, уходящую вверх.

У подножия лестницы стояли двое. Высокие, в длинных балахонах с капюшонами, скрывавшими лица. В руках они держали посохи, увенчанные тусклыми кристаллами. Они не двигались. Но когда он подошел ближе, один из них повернул голову.

Из-под капюшона блеснула прорезь. Не глаз — щель, из которой сочился тот же бледно-желтый свет.

— Предъяви имя, — произнес голос, ровный, бесцветный, как шум дождя.

Он остановился. Имя. У него было имя? Он порылся внутри, в той зияющей пустоте, где должны были лежать слова, лица, чувства. Ничего. Только белый шум.

— У меня нет имени.

— Тогда назови себя, — сказал второй смотритель.

Как можно назвать то, чего не помнишь? Он стоял и молчал, а смотрители ждали. Молчание длилось долго. Потом первый опустил посох, и кристалл погас.

— Пустой, — констатировал он. — Такие не уходят. Возвращайся в зал.

— Я хочу уйти, — сказал он.

— Уйти могут только те, кто есть. Тебя нет. Вернись.

Смотрители не двигались с места, но воздух вокруг них уплотнился, стал вязким. Он почувствовал, как тяжелеют ноги, как тянет назад, к чаше, к пеплу. Но внутри что-то сопротивлялось. Не воспоминание, нет. Инстинкт. Или остаток воли, оставшийся от того, кем он был раньше.

Он не вернулся. Вместо этого он заметил кое-что на полу. У самой стены, в трещине между плитами, лежал маленький предмет — мутный кристалл размером с мизинец. От него исходило слабое свечение, теплое, не такое, как от посохов смотрителей.

Он нагнулся. Пальцы коснулись кристалла.

Мир взорвался.

Запах моря. Соленый ветер бьет в лицо. Рука сжимает рукоять меча — тяжелого, с зазубренным лезвием. Рядом кричат. Горят корабли в гавани. Кто-то бежит, падает, снова бежит. А он стоит на стене и смотрит вниз, на город, охваченный огнем. И в груди — боль. Не от раны. От того, что он должен защитить людей, но их уже почти не осталось. «Элиан!» — женский голос, полный ужаса. Он оборачивается, но не успевает...

Кристалл рассыпался в пыль. Он пошатнулся, схватился за стену. Сердце колотилось. Вкус соли на губах. Рука сама дернулась к бедру, где должен был висеть меч, но меча не было.

— Что... это было? — прошептал он.

Смотрители переглянулись. Первый чуть наклонил голову:

— Ты употребил квинтэссенцию. Осколок чужой памяти.

— Я... видел. Чувствовал. Я был там.

— Ты присвоил опыт умершего. Теперь унеси его в зал, пока не забыл. Таков порядок.

Но он не хотел забывать. Впервые с момента пробуждения внутри него что-то зажглось — не имя, не прошлое, но отблеск чужой жизни. И вместе с ним пришло понимание: он отличался от тех, кто сидел у чаши. Он мог помнить.

— Я не вернусь, — сказал он тверже.

— Ты пустой. Ты не пройдешь.

Он сделал шаг вперед. Смотрители подняли посохи, кристаллы засветились ярче, воздух задрожал. Но в этот миг откуда-то сверху, из глубины лестницы, раздался звук — низкий, протяжный, похожий на звон треснувшего колокола. Смотрители замерли. Их посохи погасли.

— Призыв, — произнес первый. — Маяк зовет.

— Кто зажигает маяк? — спросил второй. — Никто не зажигает маяк.

Они, казалось, забыли о нем. Он воспользовался моментом и шагнул на лестницу, мимо них. Потом еще шаг. Еще. Смотрители не останавливали. Он поднимался, а звон все плыл и плыл, ведя за собой.

Лестница закончилась тяжелой дверью. Он толкнул ее плечом, и дверь поддалась с долгим, стонущим скрипом.

Он вышел наружу.

Небо было серым. Не пасмурным, не грозovým — просто серым, как старая бумага, на которой стерлись все слова. Впереди простиралась пустошь: низкие холмы, сухая трава, остовы мертвых деревьев. Далеко-далеко, на горизонте, вставали очертания города — семь шпилей, черных, острых, пронзающих небо.

А слева, на скалистом уступе, стоял маяк. Он был каменным, приземистым, и на вершине его горел огонь. Не яркий, не маячный — слабый, дрожащий, как свеча на ветру. Но он горел. В этом мире без памяти он горел.

У подножия маяка сидела женщина. Седая, слепая, закутанная в серый плащ. Глаза ее были закрыты, но лицо обращено к нему, словно она видела не зрением.

— Ты проснулся, — произнесла она. Голос был тихим, но отчетливым, как капля воды в колодеце. — Я уж думала, не придешь. Последний Помнящий.

Он подошел ближе. Ветер трепал ее волосы.

— Кто ты?

— Мое имя стерто, — она улыбнулась. — Но ты можешь звать меня Смотрительницей. Я смотрю за тем, что осталось. И за теми, кто еще способен дойти.

— Куда дойти?

Она подняла руку и указала на город с семью шпилями.

— Туда. В Чертог Грез. Там спит Архитектор Забвения. Тот, кто отнял у мира память. Если ты его разбудишь — или убьешь, — проклятие падет. Люди снова начнут помнить.

— Зачем мне это?

Смотрительница склонила голову набок.

— Затем, что ты уже помнишь. Тот осколок, что ты впитал, не рассыпался бесследно. Он в тебе. И таких осколков будет больше. Ты — сосуд, Пепельный Счетовод. Ты соберешь достаточно, чтобы либо исцелить мир, либо сжечь его дотла. Выбор за тобой.

Он посмотрел на свои руки. Обычные руки, в мозолях и шрамах. Но внутри, за грудиной, теплился уголек чужой боли, чужой жизни. Элиан. Так звали того человека. И теперь это имя принадлежало ему.

— Я ничего о себе не знаю, — сказал он.

— Ты узнаешь. Или придумаешь заново. Каждый шаг подарит тебе чью-то память. Только не растворяйся в ней. Оставайся собой, даже если пока не знаешь, кто это.

Смотрительница встала. Она была маленькой и хрупкой, но от нее веяло силой — древней, как сам этот серый свет.

— Иди. Город ждет. И помни: не все воспоминания — благословение. Некоторые лучше не трогать.

Она протянула руку, и на ладони у нее лежал еще один кристалл — покрупнее, с голубоватым свечением.

— Возьми. Это поможет в пути. Память одного лучника. Пригодится.

Он взял. Кристалл был теплым. Он сжал его в кулаке, чувствуя, как чужая жизнь уже тянется к его пустоте, готовая заполнить ее навыками, эмоциями, тенями.

— Спасибо, — сказал он, хотя не знал, за что благодарит.

Смотрительница ничего не ответила. Она снова села и замерла, глядя слепыми глазами на огонь маяка. Огонь горел. Непонятно почему. Но он горел.

Он повернулся к городу. Семь шпилей чернели на горизонте, и между ними клубился туман. Там спал бог. Там лежала разгадка. А позади был Приют Забытых Имен и мертвецы с ложками, черпающие пепел.

Он сделал первый шаг. Потом второй.

Пустошь приняла его — тихая, серая, безмолвная. Но теперь он нес в себе чужое имя, чужой бой и чужую надежду. И этого пока было достаточно, чтобы идти.

Глава 2. Дорога забытых шагов

Пустошь встретила его тишиной, которая не была пустотой. Она была отсутствием — таким глубоким, что даже ветер, казалось, забывал дуть, а трава под ногами не шуршала, а беззвучно крошилась в пыль. Серое небо висело низко, без единого облака, без единой тени. Свет сочился сразу отовсюду, плоский и бескровный, как изнанка закрытых век.

Он шёл.

Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставил Маяк за спиной. Маяк больше не был виден — то ли скрылся за холмами, то ли его поглотило море, то ли сам мир переставил декорации, пока он моргал. Последнее не казалось невозможным. В мире, где люди забывают, а реальность штопает дыры их отсутствия, расстояния тоже могли быть ненадёжны.

Он смотрел под ноги. На сапоги. Кожа старых сапог потрескалась, но ещё держала форму. Кто их носил до него? Кто протоптал в них сотни лиг, прежде чем оставить в Приюте Забытых Имен? Он не помнил. И уже начинал понимать, что «не помнить» — это не просто отсутствие знания. Это дыра, которая дышит. Которая ждёт, чем её заполнят.

В кулаке он сжимал второй кристалл. Тот, что дала Смотрительница. Голубоватое свечение пульсировало в такт его сердцу — или ему казалось? Он поднёс кристалл к глазам. Внутри переливалась туманная спираль, медленная, как сон. Память лучника. Чья-то жизнь, уместившаяся в осколок размером с фалангу пальца.

— Пригодится, — сказал он вслух, просто чтобы услышать звук.

Голос прозвучал сипло и чуждо. Он замолчал.

Пустошь не ответила.

Он пошёл дальше. Под ногами хрустели мелкие кости — не человеческие, звериные, но зверей он здесь не видел. Может, они тоже были забыты. Может, они просто перестали существовать, а кости остались по недосмотру реальности.

Мысли текли вязко. Он пытался ухватиться за что-то — за любой край, за любую зацепку. *Кто я?* — пусто. *Откуда я?* — пусто. *Что я умею?* — тело помнило, как ходить, дышать, сжимать кулак. Но тело не помнило, чьё оно. Он поднёс руку к лицу, осмотрел ладонь. Мозоли

у оснований пальцев, след от старого пореза на большом. Рука человека, который много работал. Или много сражался. Или и то, и другое.

Он попробовал представить, как эта рука держит меч. Картинка не пришла. Но когда он сжал кристалл лучника, что-то внутри слабо отозвалось — не сама память, а её предвкушение. Так язык помнит вкус соли, даже когда во рту пусто.

Впереди показались камни. Торчали из земли, как рёбра засыпанного великана. Он решил сделать привал. Присесть. Подумать.

Но когда он подошёл ближе, то услышал звук.

Не ветер. Не шорох. Голос. Вернее, голоса. Много, спутанных, наслаивающихся друг на друга, как будто десяток людей пытались говорить одновременно одним ртом. Слова сливались в кашу, но иногда выныривали обрывки:

— ...не туда, я же говорил, не туда...

— ...мама, мама, где ты, я не помню...

— ...держат строй! держать строй, ублюдки!..

— ...холодно... как холодно...

Он замер. Голоса доносились из-за каменного выступа. Он прижался спиной к шершавому камню и осторожно выглянул.

Существо стояло в ложбине, ярдах в двадцати. Когда-то оно было человеком. Теперь это была тень — не в смысле прозрачности, а в смысле неопределённости. Контуры тела расплывались, дёргались, перетекали из одной формы в другую. Плечи то раздавались в ширину, то сжимались. Рост менялся — секунду назад оно было высоким, а теперь припало к земле, как зверь. Лицо... лица. Несколько лиц, наложенных друг на друга, как стопка кальки. Глаза горели тусклым жёлтым огнём — не два глаза, а множество, они открывались и закрывались в случайном порядке по всей голове, по шее, по предплечьям.

Мнемоник.

Он вспомнил слово, хотя не помнил, откуда его знает. Наверное, из самого воздуха этого мира. Мнемоник — ходячая гробница. Тот, кто впитал слишком много чужой памяти и потерял свою. Теперь чужие жизни пожирали его изнутри, дёргали за ниточки, кричали его ртом.

В руке Мнемоник сжимал обломок клинка — ржавого, зазубренного. На поясе болтался пустой колчан. Рядом на земле валялся лук — старый, разохшийся, но с целой тетивой.

Лук. Он снова посмотрел на кристалл в своей ладони. Совпадение? В этом мире не бывает совпадений. Только забытые закономерности.

Он сделал шаг. Камень под ногой хрустнул.

Мнемоник мгновенно развернулся. Десяток глаз уставился на него, и на мгновение голоса стихли, сменившись низким, гортанным рыком. А потом грянул хор:

— КТО-ТЫ-КТО-ТЫ-КТО-ТЫ?!

Каждое слово било в уши с разной интонацией, разной громкостью, разной скоростью. Словно толпа допрашивала его через одно горло.

Он не ответил. Медленно, не сводя глаз с твари, он нагнулся и поднял лук. Дерево было шершавым, тёплым — его недавно держали в руках. Возможно, этих рук уже нет. Рядом валялись стрелы: три штуки, оперение потрёпано, наконечники затуплены.

Мнемоник дёрнулся, сделал шаг, другой. Его движения были рваными, как у сломанной марионетки. Казалось, разные личности тянут тело в разные стороны, но общая ярость направляла его к незваному гостю.

— Я не хочу сражаться, — сказал он, но голос прозвучал неуверенно.

— ХОЧЕШЬ-ХОЧЕШЬ-ХОЧЕШЬ... — ответил Мнемоник и бросился вперёд.

Он действовал не думая. Пальцы сжали кристалл лучника, и он поднёс его к груди — не зная зачем, просто повинувшись внезапному импульсу. Кристалл вспыхнул. Холод пробежал от ладони к сердцу, а потом мир треснул.

...стрельбище на закате. Ветер с моря. Старый наставник хмурится: «Плавно, Орвин, плавно. Тетива не любит рывков. Дыши. Отпускай на выдохе». Мальчишеские руки дрожат, но стрела ложится в цель. Первая, вторая, сотая. Годы тренировок сворачиваются в одну секунду. Вот он уже на стене крепости. Внизу — враги. Руки спокойны, дыхание ровное. «Выдох». Тетива поёт. Стрела находит горло первого. Второго. Третьего. Он не считает. Он просто делает своё дело, потому что за спиной — город, а в городе — она. «Орвин!» — кричат слева. Он разворачивается, но стрела уже летит...

Видение схлопнулось. Он снова стоял в Пустоши, но тело уже не было прежним. Пальцы сами легли на тетиву, левая рука подняла лук, правая потянула оперённый хвостовик из колчана. Плечи развернулись. Локоть поднялся ровно на нужный угол. Дыхание само нашло ритм — короткий вдох, плавный выдох.

Мнемоник был в десяти шагах. Рванулся, заноса обломок меча. Но время для него замедлилось — не по-настоящему, а так, как оно всегда замедляется для стрелка, привыкшего считать удары сердца между натяжением и выстрелом.

Он отпустил тетиву.

Стрела вошла Мнемонику в грудь. Не глубоко — наконечник был тупым, — но тварь споткнулась, закричала десятком голосов разом. Из раны не вытекло крови. Вытек свет — мутный, желтоватый, тот самый, что горел в глазах. Мнемоник покачнулся, но не упал. Он захохотал, заплакал, запел, зарычал — одновременно.

Вторая стрела. Он наложил её быстрее, чем успел осознать. Руки Орвина работали через него. Выдох. Тетива загудела. Стрела ударила в шею — точнее, в то место, где у Мнемоника на мгновение проступила шея. Свет хлынул сильнее.

Тварь упала на колени. Голоса стали затихать, как угасающее эхо. Последнее, что она произнесла перед тем, как рассыпаться облаком серой пыли, было почти членораздельным:

— Спасибо...

Пыль осела. На земле остался только обломок меча и пустой колчан.

Он опустил лук. Дыхание сбилось, хотя бой не отнял сил. Напротив — он чувствовал прилив энергии, бодрящий и вместе с тем тревожный. Но главное было внутри.

Внутри был Орвин.

Не весь. Не цельная личность. Скорее — эхо. Но эхо громкое, настойчивое. Оно не говорило словами, оно давило ощущениями: *тоска по морю, боль в левом плече (старая рана), любовь к женщине с каштановыми волосами, привычка крутить кольцо на пальце (кольца не было), ненависть к северному ветру, страх перед высотой...* Поток образов захлёстывал его, пытаясь заполнить пустоту, которая зияла в центре его существа. Пустота сопротивлялась. Или он сопротивлялся — он не понимал.

Он прижал ладонь к груди. Сердце колотилось часто, но размеренно. Его собственное сердце? Или сердце лучника? Чувства были слишком яркими для его пустой оболочки. Они обжигали.

— Нет, — сказал он вслух. — Ты не я.

Внутренний напор не ослаб, но он провёл черту. Прямо в сознании, как пальцем по пеплу. *Это твоя тоска. Твоя боль. Твоя женщина. Не моя.* Он не знал, кто он, но теперь хотя бы знал, кем он не является. И это было первым кирпичиком.

Орвин отступил. Не исчез — просто ушёл на задний план, став инструментом, а не хозяином. Он ещё будет просыпаться. Он ещё будет предлагать свои страхи и привязанности. Но сейчас он был просто памятью, которая умеет стрелять.

Он выдохнул. Опустился на корточки, подобрал уцелевшие стрелы — их осталось две. Лук повесил на плечо, пристроив ремешок, которого не было, но который подсказала память Орвина. Проверил, как лук держится. Удобно.

Странное чувство: он стал немного более... полным? Нет, не то слово. Скорее, обрёл контур. Как будто до этого он был просто кляксой, а теперь у кляксы проступили края. Чужая память не дала ему личность, но дала форму. И форму эту можно было менять, вбирая других. Или защищать, не давая им себя поглотить.

Он поднял взгляд к горизонту. Семь шпилей всё ещё чернели вдали. Казалось, они стали чуть ближе. Или это тоже иллюзия забытых расстояний.

Он пошёл вперёд. Теперь у него было оружие. Теперь у него был навык, которого он не заслужил и не заработал. И вместе с ним пришло новое, неожиданное чувство — не радость, не гордость, а тихое, холодное осознание ответственности. Тот, кто носит чужие жизни, обязан донести их до цели. Или хотя бы не дать им умереть во второй раз.

Пустошь молчала. Серое небо висело над головой. А он всё шёл, и каждый шаг оставлял след, который, возможно, никто никогда не вспомнит. Но он оставлял его. И этого пока было достаточно.

Глава 3. Деревня без имён

Он шёл сквозь Пустошь, и Пустошь шла сквозь него.

Так он чувствовал это теперь. Каждый шаг отдавался внутри слабым эхом, потому что внутри больше не было тихо. Память Орвина дремала, свернувшись, как зверь у костра, но иногда вздрагивала, и тогда его захлёстывали чужие ощущения. Вкус соли на губах. Тепло женской ладони на затылке. Запах оружейного масла. Они приходили без спроса и уходили, не прощаясь, оставляя после себя смутное чувство вины — за то, что он пользуется ими, не имея права.

Он попытался сосредоточиться на дороге. Следы Мнемоника остались позади, но осадок от встречи не рассеивался. Тварь перед смертью сказала «спасибо». Не прокляла, не зарычала — поблагодарила. Значит ли это, что он даровал ей покой? Или что она наконец забыла всё, что причиняло боль? Он не знал, какой ответ правильный, и это тревожило.

Горизонт менялся медленно, но верно. Плоская пустошь начала подниматься пологими холмами, на склонах которых торчали кривые, мёртвые стволы. Кора с них осыпалась, обнажая серую древесину, похожую на старые кости. Ветер всё так же забывал дуть, но воздух стал плотнее, холоднее — пахло застоялой водой и чем-то ещё, сладковатым, как гниющие цветы.

Потом он увидел деревню.

Она лежала в низине, между двух холмов, как раздавленная ладонь. Десятка три домов, сложенных из грубого камня и почерневшего дерева. Крыши провалились, стены осели, но не от времени — от запустения. Время здесь, казалось, текло иначе, чем везде. Дома не руинировались, а, скорее, выцветали, как будто сама материя забывала, что была чем-то.

Он спустился по склону, и в тишине его шаги зазвучали гулко, словно он ступал не по земле, а по своду огромного пустого зала. Деревня молчала, но молчание её было не мёртвым — скорее, спящим. Где-то скрипнула дверь, хотя ветра не было. Где-то качнулась ветка, хотя деревья стояли голыми.

Он вошёл на главную улицу. Простую тропу, утоптанную когда-то сотнями ног, а теперь едва угадываемую под слоем пыли. И сразу заметил первое.

Верёвки.

Они были повсюду. Протянуты между домами, намотаны на столбы, свисали с дверных проёмов, как гирлянды, но не праздничные — погребальные. Каждая верёвка была покрыта узлами. Десятками, сотнями узлов, больших и маленьких, простых и сложных, завязанных

с какой-то отчаянной тщательностью. Некоторые узлы распустились от сырости, некоторые затянулись так туго, что верёвка в этих местах истончилась и побелела.

Он подошёл ближе к одной из верёвок, протянутой поперёк улицы. Узлы различались по форме: вот простой, тройной, «восьмёрка», «встречный», «бабий» (память Орвина подсказала названия — лучник знал узлы), но были и такие, каких он никогда не видел. Замысловатые, многослойные, с вплетёнными в них бусинами, перьями, обрывками ткани. Кое-где к узлам были привязаны маленькие деревянные таблички, но надписи на них стёрлись — или их стёрли намеренно.

Он коснулся одного узла. Верёвка была сухой, ломкой. От прикосновения из неё выпала пыль и что-то ещё — слабый, едва уловимый шёпот. Не голос, нет. Отзвук голоса. Так пахнет одежда человека, которого больше нет.

Узелковое письмо. Он где-то слышал об этом — или видел, или ему рассказали. В мире, где письма забываются, а чернила выцветают из памяти, люди пытались хранить историю иначе. Узлы на верёвках. Каждый узел — слово. Каждая нить — предложение. Память, которую можно потрогать руками даже тогда, когда буквы уходят из разума. Древний способ, старый, как ткачество.

Но и он не помог. Деревня умерла. Или забылась.

Он пошёл вдоль улицы, разглядывая дома. В некоторых сохранилась мебель — столы, лавки, очаги. Всё покрыто серой пылью. Никаких останков. Только пустота, которая когда-то была людьми. На стенах одного дома он увидел узор из верёвочных узлов, прибитых прямо к брёвнам гвоздями. Узор напоминал карту — или созвездие, — но расшифровать его было невозможно. Возможно, это была история семьи. Возможно, завещание. Теперь — просто пыльные узелки.

В доме, который стоял чуть дальше от остальных, на небольшом пригорке, он нашёл дневник.

Это была тонкая тетрадь в кожаном переплёте — точнее, в том, что когда-то было кожей. Книга лежала на столе, раскрытая, как будто хозяин вышел на минутку и не вернулся. Рядом стояла чернильница — сухая до дна. И перо, так и оставшееся лежать на странице, но не оставившее следа: чернила кончились раньше.

Он осторожно взял тетрадь. Страницы были рыхлыми, ломкими. Почерк — неровный, меняющийся от страницы к странице. Первые записи были чёткими, даже красивыми, с завитками и ровными строчками.

«День первый, Месяц Связанных Снопов. Мы начинаем. Старейшины говорят, что это поможет. Что узел не забудет того, что забудет голова. Я записываю это для тех, кто придёт после. Если вы читаете — значит, я уже не помню, что писал, но верёвки ещё здесь. Верьте верёвкам. Они старше букв».

Следующая запись. Почерк тот же, но строки чуть дрожат.

«День четвёртый. На площади связали первое общее дерево. Каждый приносит свой узел. Это красиво. Дочь помогла мне завязать мой — у меня пальцы уже не те. Её узел — любовь. Мой — благодарность. Дерево растёт».

Ещё через несколько страниц.

«День десятый. Я забыл слово. Я хотел написать "вечность", но не смог. Смотрел на буквы, знал, что они что-то значат, но не мог сложить. Вечность. Я нашёл его, только когда посмотрел на свой старый узел. Там оно есть. Верёвка помнит».

Потом почерк начал меняться. Буквы стали крупнее, проще, словно писавший разучивался и возвращался к детской манере.

«Я забыл, как звали дочь. Я смотрел на неё утром и знал, что это мой ребёнок. Но имя... Имени нет. Я спросил. Она заплакала и убежала. Я хотел пойти за ней, но ноги не помнили дороги. Я сидел и смотрел на свои руки. Руки тоже не помнили».

Страницы шли одна за другой, и каждая была больше предыдущей. Писавший забывал слова, буквы, смысл написанного. Посередине тетради шли уже просто каракули, попытки нарисовать букву, которая никак не вспоминалась. Поперёк одной страницы тянулась единственная кривая строчка:

«Я есть. Я е мь. Я...»

А ниже — просто обрывок верёвки, приклеенный к бумаге засохшей смолой. Узел. Простой, затянутый до побеления.

Последняя страница, заполненная едва на треть. Почерк превратился в неуверенные печатные буквы, выведенные так, словно писавший копировал их с образца, не понимая смысла.

«Тут хлеб. Вода. Кто читает. Иди дальше. Не останавливай...»

На этом месте запись обрывалась. Последняя буква была не дописана — рука забыла, как её закончить.

Он закрыл дневник. Положил обратно на стол — бережно, как кладут тело в могилу. Память о человеке, который забывал, но боролся до последней буквы. До последнего узла.

Он постоял немного, глядя на пустые стены, на верёвочную паутину за окном. В этой деревне жили люди, которые цеплялись за себя до последнего. Они придумали способ победить Проклятие. И Проклятие всё равно победило. Но не сразу. Не без боя.

— Они почти справились, — раздался голос за спиной.

Он резко обернулся. Рука дёрнулась к луку, но замерла на полпути.

В дверях стоял старик.

Он был маленьким, сгорбленным, одетым в бесформенный балахон, когда-то, возможно, синий. Босые ноги, седые волосы, спутанные в колтуны. В руках он держал кусок пергамента и уголёк. Глаза его были светлыми, почти прозрачными, и смотрели они не на гостя, а куда-то сквозь него, в точку за левым плечом.

— Ты кто? — спросил герой.

Старик моргнул. Долго, медленно, словно вспоминал, как это делается.

— Я... — он нахмурился. — Был кем-то. Или буду. Сейчас не помню. Но вот это, — он помахал пергаментом, — это я помню. Карта.

— Ты картограф?

— Картограф? — старик попробовал слово на вкус. — Может быть. Я черчу места. Чтобы не потеряться. Но я всё время теряюсь, так что черчу заново. Иногда места меняются. Иногда я меняюсь. Кто-то должен записывать, как оно всё лежит, иначе оно ляжет неправильно. Понимаешь?

Герой не понимал, но кивнул. Безумие старика было какого-то особого рода — не пустое, как у Опустошённых в Приюте, а переполненное, как у Мнемоника, но мирное. Словно он не боролся со своим безумием, а поселился в нём, как в доме.

— Ты живёшь здесь? В этой деревне?

— Живу? — старик задумался. — Я здесь... часто. Иногда ухожу, но возвращаюсь. Здесь верёвки. Они помогают думать. И не думать. Когда смотришь на узел, в голове что-то ворочается. Как будто почти вспоминаешь. Это приятно. И больно. Но приятно.

Старик прошаркал в комнату, не боясь, не осторожничая, сел на табурет у пустого очага и развернул пергамент. На нём углём были нанесены линии, круги, крестики. Похоже на карту, но странную: многие участки были пустыми, просто белыми пятнами, обведёнными неровной чертой. Там, где линии сходились, были подписаны названия — но некоторые слова обрывались на середине, а некоторые были зачёркнуты и поверх написаны другие.

— Вот, — старик ткнул пальцем в крестик, — это мы. Деревня. Или была деревня. Тут написано «Деревня», но я не помню, чья. Раньше у неё было имя, но я его стёр, потому что имя без людей — это неправильно. Оно болит.

Герой подошёл ближе, взглянул на карту. Очертания Пустоши, Маяк у края листа (подписано: «Огонь, который помнит»), Город Семи Шпилей в центре, отмеченный жирным чёрным треугольником. Между ними — белые пятна.

— Почему здесь пусто? — спросил он, указав на пятна.

— Потому что я там не был. Или был, но забыл. Или места забыли меня. Такое бывает. Места тоже умирают, если их никто не помнит. Поэтому я черчу. Пока я черчу, они есть. Даже если я не помню, я черчу. Рука помнит.

Старик хохотнул беззубым ртом, и смех его был похож на шорох сухих листьев.

— Ты ищешь Город, — сказал он не спросил, а констатировал.

— Да. Чертог Грез.

— Грез... — старик мечтательно закатил глаза. — Говорят, там спит тот, кто подарил нам всё это. Дар. Или проклятие. Я не разбираюсь. Но старые люди говорили, что раньше, до всего, было плохо.

— Плохо? — герой насторожился. — Что значит «плохо»?

Старик опустил уголёк, поскрёб щёку, оставляя серые разводы.

— Они помнили, — сказал он шёпотом, словно боялся, что кто-то подслушает. — Все всё помнили. Каждую смерть. Каждую измену. Каждую войну. Каждого умершего ребёнка. Каждую несправедливость. Говорят, земля дрожала от тяжести. Люди не могли спать, потому что закрывали глаза — и видели всё. Всех. Всю боль мира, накопленную за тысячи лет. Это давило. Реальность трескалась. И тогда он пришёл.

— Архитектор Забвения.

— Может, и так. Или Архитектор Покоя. Он собрал всю лишнюю память, всю боль, всю скорбь — и унёс с собой. Уснул. И мир стал лёгким. Люди стали забывать. Сначала плохое. Потом всё. Это был дар. Или проклятие. Но без него мы бы все сошли с ума от того, что мы сделали друг с другом.

Старик замолчал, уставился на свою карту. Потом покачал головой.

— Но я не уверен. Я многое забыл. Может, это всё неправда. Может, я сам придумал, чтобы не было страшно. Когда забываешь, всё время страшно. А когда придумываешь — уже не так.

Герой молчал. Слова старика падали в него, как камни в колодец, и глубина этого колодца всё ещё отзывалась гулом. Он вспомнил книгу из библиотеки, которую ещё не нашёл. Вспомнил слова Смотрительницы о мести. Вспомнил, как Мнемоник сказал «спасибо».

Дар. Или проклятие. Или и то, и другое.

— Откуда ты знаешь легенду? — спросил он наконец.

— Не помню, — просто ответил старик. — Может, я сам её выдумал. А может, я её помню с тех времён, когда ещё помнил. Иногда во мне просыпаются слова, которые старше меня. Я их записываю, а потом забываю. Но карта остаётся.

Он внезапно засуетился, схватил уголёк, что-то быстро пририсовал на карте — волнистую линию от Деревни до края листа — и протянул пергамент герою.

— Возьми. Тебе нужнее.

— Ты отдаёшь мне свою карту?

— У меня есть другая, — старик похлопал себя по груди, и из складок балахона выпали ещё три свёрнутых пергамента. — Я начерчу новую. Завтра. Или сегодня. Или уже начертил. Не помню. Но ты идёшь к Городу. А Город — он хитрый. Он двигается. Без карты ты будешь ходить кругами и забудешь, куда шёл. Карта не даст забыть. Она сама забывает, но не всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.